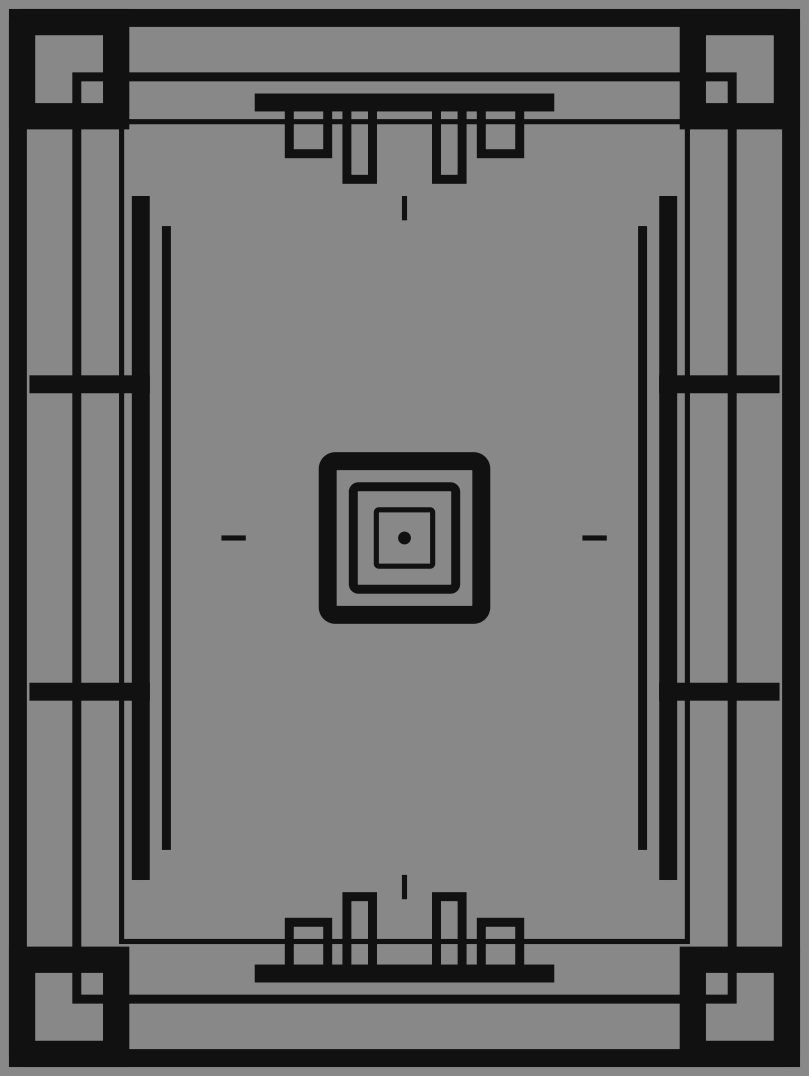

Сестры

Вера Федоровна Панова

Аннотация
Вера Федоровна Панова. Сестры
1
2
3
4
5
6
7
8

Аннотация

В центре рассказа Веры Пановой - судьба актрисы с ее отзывчивостью к людям и трогательной заботой о них

Вера Федоровна Панова
Сестры

Посвящается И. С-ой

1

Актриса получила отпуск на месяц, а путевка в санаторий была на двадцать четыре дня, и актриса решила съездить на отцовскую могилу, в места, откуда она уехала десять лет назад. Ее мучило, что она не была на его похоронах, она — его старшая и которую он любил. Когда он умер, она была за границей, ей туда не сообщили, а когда вернулась и увидела эту телеграмму, было уже поздно…

На аэродром актрису провожало несколько человек, мужчины и женщины, все молодые, красивые и нежно заботливые. Они ничего не дали ей нести, даже ее маленькой сумочкой кто-то завладел. И она играла роль, которая им приятна, роль девочки-несмышленыша, опекаемой взрослыми. Слабенький ребенок с задумчивыми глазами. А взрослые наперебой объясняют ребенку, куда идти, кому предъявить билет и вообще как жить.

Она играла эту пустяковую роль до самого расставания, и только в самолете ее лицо приняло свое естественное выражение, стало умным,

сосредоточенным, с зорким взглядом небольших, очень светлых, алмазно-светлых глаз.

Это лицо тишайшей, сокровенной русской прелести пассажиры самолета знали, они его видели и в кино, и дома по телевизору, но в жизни не узнали его. Одна стюардесса узнала как будто: вскоре после того как полетели, она подошла и потихоньку сказала — добрый день, как мы себя чувствуем, — и при этом улыбнулась особенно, родственно и заговорщицки… Мало кто узнавал это лицо, на экране оно было юнее, ярче, эффектней, и прическа другая, в жизни актриса просто зачесывала назад свои негустые, соломенного цвета волосы и собирала в узел на затылке. И роста была маленького, и одевалась неприметно — в английские костюмчики, и губ не красила. Надо было очень внимательно всмотреться в легкие линии этого профиля, хрупких скул и бледного детского ротика, чтобы выплыл лик, просиявший на экранах всего мира.

Никто и не всматривался, слава богу. Актриса вольно откинулась в кресле и на всякий случай, как бы дремля, прикрыла глаза рукой. Узкая сильная рука, большая не по росту, была украшена золотыми часами на золотом браслете. Актриса купила их из первого крупного гонорара, она

мечтала об этой игрушке с самого-самого своего босоногого детства.

Так полулежала она, и сперва ее не покидали обычные будоражащие мысли: неужели и в предстоящем сезоне ничего не выйдет с постановкой «Униженных и оскорбленных», похоже, что не выйдет, — если б кто знал, как хочет она, как нужно ей сыграть Наташу, — не угнетенную добродетель сыграю я, нет, — яростную битву страсти, гордыни, самоотвержения в женском сердце, все бабы в зале будут у меня ревмя реветь, а мужики кашлянуть не посмеют от благоговения, от смирения перед женской силой!

«Если он опять увильнет от “Униженных”, уйду в другой театр», — подумала она. Что ему искусство, он трясется, как бы успех спектакля не приписали кому-нибудь, кроме него, — ну и оставайся со своей дурацкой амбицией, мне с тобой делать нечего. Он — это был главный режиссер, борьба с которым стоила ей изнуряющего, выматывающего напряжения, мелкий честолюбец, завистник. Принятое решение немного утихомирило ее нервы, она заснула в глубоком кресле, скрестив ноги в простеньких туфлях без каблуков, рукой прикрыв глаза.

Проснувшись, взглянула в окошечко и увидела

под крылом самолета молочно-белый океан с застывшими волнами, облачный покров Земли. Так безмятежно было по эту сторону покрова, пустынно-солнечно, отрешенно. Все мучительное — далеко внизу, а здесь покой, пятьдесят градусов ниже нуля, и если смотреть на эти застывшие мелкие волны, то самолет вроде бы и не движется.

2

Самолет описал дугу, соединяющую Москву с Симферополем, и, пробив облачный покров, опустил актрису на землю. И вот она ехала в старом такси через рыжую, серую, спаленную степь.

Десять лет назад она проехала здесь в обратную сторону. То был день ее рождения, ей исполнилось восемнадцать. У них в семье таких нежностей не водилось, чтобы праздновать дни рождения, никто о них и не поминал. С вечера она собралась: вымыла голову дождевой водой и уложила в тяжелый чемодан свои вещи, бедные одежки деревенской Золушки да несколько учебников, кое-что повторить. Восемнадцать ей исполнилось, когда она ехала на райторговском грузовике в раскаленный июльский день и думала — наконец-то, вырвалась все-таки, теперь только бы не провалиться на экзаменах. Но она знала, что не провалится.

Некоторые ее осуждали: замахнулась чересчур широко, больше всех ей надо. Другие девочки подали заявления — кто в учительский, кто в технические вузы, какие поближе, некоторые

даже в техникумы. Она же ехала поступать в Московский университет. Хотя знала нисколько не больше, чем ее подружки: то, чему учили в десятилетке, да то, чему научает жизнь в поселке, удаленном от больших городов, много пострадавшем в войну, заселенном пришлыми людьми. И они с отцом были пришлые и, как все, трудно приживались к непривычным условиям, к этим голым предгорным местам, где нужно было заново сажать сады, виноградники, каждый куст.

И ничего-то они не посадили, она и ее отец. Так же, когда она уезжала, стоял их дом посреди пустого двора. Трава хотела расти во дворе, но коза ее съедала тотчас же, едва она показывалась. Мачехины дети играли на объеденной, пересохшей, истрескавшейся земле. Они были грязные, вечно дрались и ревели, тоска была на них глядеть. Актриса безропотно выносила за ними, обстирывала их, собирала дождевую воду им на купанье, а глядеть не глядела, отворачивалась.

Тогда она еще не имела понятия, что есть у нее этот странный дар — изображать разных женщин с разными их чувствами. Любила книги и думала — окончу филологический, буду преподавать литературу, стоять на кафедре и читать лекции строгим голосом, она видела такое в ки-

нохронике.

От тех планов осталась приверженность к английским костюмам и гладкой прическе, так она когда-то воображала себе ученую женщину.

В то утро, десять лет назад, они с отцом вышли на дорогу, где велел им дожидаться шофер. Мачеха, конечно, не пошла. Она и радовалась, что падчерицы не будет в доме, и сердилась, что теперь самой придется стирать и убирать за детьми. А дети побежали было за старшей сестрой, но отец не велел им: он знал, что ей тоска с ними. Он тяготился тем, что она несчастлива в семье. Это портило ему настроение каждый день, но он ничем не мог ей помочь, как и она ему. И он тоже радовался, что она уезжает, что о ней теперь будут заботиться другие люди, которые лучше устроят ее жизнь, чем он устроил.

В то утро он был трезвый — накануне не пил — и весь какой-то окончательно стихший.

Они спустились на шоссе. Актриса поставила чемодан, стояли и ждали молча, терпеливо. Без сожаления смотрела она на низкие каменные домики и голые дворы, раскиданные по рыжему склону между тропинками; на тесно составленные невысокие горы… Раннее утро уже налито было жаром, пахло асфальтом, воздух не дышал.

У отца по коричневым морщинам заструился пот, актриса вынула из рукава скомканный платочек и вытерла ему лицо.

— Скажи, пожалуйста, — сказал он, глядя на нее, — и в кого ты такая?

Рукава на том платье были длинные — единственное ее платье, в котором можно было показаться людям, она его надела в Москву — платье из гладкого синего штапельного полотна, и она его вышила у ворота крестиками, чтоб было нарядней.

Зашуршав по асфальту, остановился грузовик. С шофером в кабине уже сидел кто-то. Актриса вскарабкалась в кузов, отец подал ей чемодан. Грузовик покатил. Она не сразу оглянулась, потому что прилаживала чемодан между райторговскими ящиками, а когда приладила и посмотрела назад, отец уже шел по тропинке вверх, к дому, тяжело взмахивая своей искусственной ногой.

3

В Москве она, как жаждущий к воде, припала ко всему, что Москва могла ей дать. В сумерки — дождь ли, мороз, гололедица ли — бежит, бывало, торопится на диспут в Политехнический, на литературный вечер, в Третьяковку, в Колонный зал. Из стипендии можно было выкроить на румынки, можно на билеты в консерваторию и театр. Другие покупали румынки, она — билеты. Засыпая, предвкушала — что предстоит завтра увидеть, услышать. И в самодеятельность записалась, испытать: а что такое сцена?

Сначала было просто весело, вроде игры: попробовала — получилось, все довольны, она больше всех. Толик, постановщик, выводит за руку, в зале хлопают — немножко чудно`, немножко смущаешься, лестно, легко. Взяла и сыграла, почему бы и нет, не боги обжигают горшки, очень рада, что вам понравилось.

Но вот в первый раз сказано: талант. Это как внезапный свет в глаза.

И какое-то вокруг начинается кружение. Какой-то хоровод. Вдруг она себя почувствовала

завербованной. Оказалось, все не на жизнь, а на смерть серьезно, какие там игры. Дала обязательства — выполняй. Так ставили вопрос люди, взявшие ее в это кольцо. Слушайте, что вы, я буду преподавательницей, я так загадала. Нет, говорят они. Нет. Ты актриса. Новая, незагаданная судьба разверзалась под ногами как бездна.

Толик сказал:

— Делаем «Бесприданницу», сыграешь Ларису, ты знаешь какая будешь Лариса!

Она взглянула в зеркало, увидала себя Ларисой, восхитилась, ужаснулась.

Ее вызвали в киностудию, и после недолгой пробы с нею говорил недосягаемо знаменитый, недосягаемо авторитетный товарищ. И другие присутствовали при этом авторитетные, важные, годящиеся ей в деды.

Она подписала договор, рука не дрогнула. Ну и что, пришло ей в голову, ведь что-нибудь в этом роде непременно должно было произойти, я всегда знала, только не знала — что именно. Седые деды с любопытством взглянули, как девчонка в чиненых-перечиненых туфлишках подписывает договор на новую, жуткую свою судьбу.

Из Мосфильма пошла пешком, чтобы в одиночестве пережить этот час сполна, дотла. После

большого снегопада грянула оттепель, все потекло. Шаркали метлы, гоня воду с тротуаров, вечерело, спешили люди. Мокрыми ногами актриса медленно шла по громадам улиц и моста. Наедине с собой не нужно было принимать спокойный вид, задыхалась сколько хотела.

«Хорошо, когда хорошо, — думала она, — когда получается и они хлопают. А как не получится почему-нибудь и начнут зевать — срам какой, срамотище, господи, тогда что же, тогда топиться только, и больше ничего!»

«Этим фильмом разве кончится? — думала она. — Разве они отступятся, вот уже этот сказал — надо переходить в театральный институт». Но это же сумасшествие, изломать весь свой план, такой красивый и солидный, и ринуться неизвестно куда, где тебе, может быть, совсем не место. Где будешь ты ни то ни се. Жалкой будешь. Ничтожной, вот.

Как будто они не могут ошибаться, авторитетные. Им кажется — талант, а вдруг не талант?

Но сладкий ком подступал к горлу, и слова запели в ушах как музыка:

Жизнь моя, иль ты приснилась мне? Словно я весенней гулкой ранью Проскакал на розовом коне.

А вокруг моста пространство было распахнутое, и небо над ним тоже большое, бледно-зеленое, с длинными полосами. В широких пространствах перемигивались светофоры.

…иль ты приснилась мне? Словно я весенней гулкой ранью…

Огни светофоров растеклись в ее слезах, хлынувших вдруг.

Бесприданницу она тогда не играла. Сыграла уже в профессиональном театре, профессиональной актрисой.

4

Теперь ехала на отцовскую могилу.

В такси еще двое было пассажиров, пожилая женщина с очень загорелым лицом, в платочке в крапушку — виноградарь или животновод, определила актриса, и гражданин с портфелем, как видно, из местных работников, он сидел рядом с шофером, и они всю дорогу разговаривали о том, правильно или неправильно московская газета критиковала каких-то областных начальников. Женщина в платочке прислушивалась со вниманием и раза два вставила слово, а актриса не знала этого ничего и думала о своем, глядя в окошечко.

Дорогу за эти годы проложили новую. Выпрямили, и шире она стала.

Машин стало больше…

Когда-то я думала: вернусь уже не одна — с мужем и с ребенком. Приедем проведать папу и скажем: «Папа, голубчик, тебе ведь здесь плохо. Поедем с нами!»

А еду одна, и папы нет.

Вон сколько стало машин…

Разрослись виноградники…

Как получилось, что я еду одна?

И она вникала в причины, по каким у нее до сих пор нет ни мужа, ни ребенка и нет даже особенного желания их иметь. И так протекла долгая дорога — дольше, чем по воздуху от Москвы до Симферополя.

Уже близко.

Совсем близко.

Проехали мимо здания школы.

«Завтра же зайду, — подумала актриса, — повидаюсь с Елизаветой Андреевной. Если ты еще жива, моя старушка».

Из окошечка такси, издали, поселок — кусочки рафинада, рассыпанные на горном склоне.

Подъезжаешь — куда-то девается сахарная белизна домиков, поселок растягивается и становится некрасивым.

На шоссе выбежали: почта, магазин и аптека, расстояние между ними, должно быть, по полкилометра.

Базар: два длинных стола под навесом, два-три ларька, горсточка людей что-то продает и покупает. Вокруг базара — серо-желтая пустыня, по ней тропки во все стороны. Боже мой, как десять лет назад.

Боже мой, боже мой, а вон в гору та тропка, по которой он подымался, проводив меня.

Те же извивы у тропки.

Так и вижу, как он шагает, взмахивая ногой.

«Зачем я приехала?» — подумала актриса.

Вдруг охватила ее тоска, что сию минуту она высадится на этом асфальте и пойдет.

Его там нет, зачем я туда? Когда был он — не приезжала, а сейчас, здравствуйте, приехала. Что` они мне, что` я им?..

Вон наш дом. Почему наш? Нас нет там. Их дом. Мачехин.

Сколько раз она плакала, когда он женился.

Жили себе, вдруг является какая-то женщина. Большая, вся широкая, спереди и сзади, брови широкие черные. Повесила жакетку на гвоздь и стала приказывать и рожать детей.

Как-то сразу установились в доме нечистота, чад, ругань, и отец больше стал пить.

Что ни вечер приходил выпивши, а мачеха на него кричала. Однажды она его ударила рубелем для катанья белья. Но тут не своим голосом закричала актриса, и мачеха бросила рубель. Так что когда на детский вопль прибежали соседки, уже было тихо, и мачеха им сказала:

— А вам тут чего, вас кто сюда просил?

И ушли с отцом в свою комнату как ни в чем не бывало. А актриса легла, руки и ноги у нее стали как лед, ей показалось, что она умирает…

Кормя ребенка, мачеха с открытой грудью ходила по двору, выходила на улицу, шла в магазин. Она это делала словно кому-то назло. И на язык была бесстыдна: ей нипочем было произнести страшные, гнусные слова, от которых свет делается не мил. А о курортницах в их красивых купальных костюмах она говорила:

— Такие-сякие, бессовестные, и не постесняются.

Неряха: грязным фартуком вытирает и руки свои, и стол, и ребенку лицо. От нее пахнет луком, салом, потом. И она ненавидит тех приезжих, нарядных, в ярких платьях.

Всех женщин ненавидит, ни одну при ней похвалить нельзя — начнет ругаться и говорить о той женщине мерзости. В злобе своей даже не хочет быть похожей на них: не приоденется, не причешется, гребешок висит сзади, уцепясь за волосы двумя зубьями.

— Да, вот такая, ага, что! — кричит отцу. — А ты только на меня обязан смотреть, на других не смеешь!

Растрепанная, тяжелая, сидит, бывало, на

камне в их пустом дворе, у темных больших ее ног ползают детишки, похожие на цыганят, и она на них смотрит без ласки, без интереса. Лузгает семечки и смотрит каменными глазами. Будто не ее дети. Будто и своим кровным она не мать, а мачеха.

И актриса перестала плакать.

Выросла, поумнела и подумала: а ну вас. Еще умирать из-за этого. И не подумаю.

Работая по дому как батрачка, старалась учиться получше да читать побольше. Знакомая библиотекарша давала книги и журналы из санаторской библиотеки. Радио было в доме, репродуктор.

5

Еще бедней и грязней показался отчий дом после разлуки. Галя, сестра, жарила оладьи, чад стоял до потолка, и открытые окошки не помогали. Мачеха завела оладьи и купила пол-литра, потому что была довольна подарками, которые привезла актриса, мачеха не ожидала подарков, да еще таких роскошных, при жизни отца падчерица присылала только деньги. Теперь же на кровати были разложены отрезы шерсти и шелка, заграничные кофты, и богатая скатерть, и свитер для Витьки, и разные красивые мелочи, каких никогда не бывало в доме. Мачеха предвкушала, как будут приходить соседки и рассматривать, и хвалить, и завидовать, а она им будет говорить небрежно:

— Вот, я ее призрела, не побоялась пойти за вдовца с девчонкой, еще и инвалида, теперь она мое доброе вспомнила.

Актриса могла бы сыграть эту сцену во всех подробностях, до малейшей интонации.

В числе мелочей она привезла сережки с искусственными рубинами. Они предназначались для

Гали. Но оказалось, что у той не проколоты уши, и надела сережки мачеха. Что-то с ней произошло, когда по сторонам ее лица, коричневого от загара, загорелись два маленьких красных огонька; какая-то перемена — и она ее почувствовала: с тревожно разбежавшимися в стороны глазами, со странной усмешкой на плоских губах подошла к зеркальцу и всмотрелась и, вынув из волос висевший на двух зубьях гребень, причесалась аккуратней.

Вот тогда она и решила угостить гостью и сходила в магазин. Они сели за стол втроем. Витька был в пионерском лагере, актрисе показали фотографию угрюмого лопоухого мальчика, она посмотрела и не ощутила сестринских чувств.

— Помянем покойника, — сказала мачеха, наливая водку. — Какой ни был, а все жалко.

Актриса глотнула из мутного стакана. Галя, сурово наблюдавшая за ней, тоже еле пригубила. Одна мачеха выпила свою порцию до конца, спокойно, как воду пьют. Спросила:

— Вы на сколько же приехали?

Актриса думала, что едет на четыре, пять дней, но теперь сказала:

— До завтра. У меня путевка в санаторий.

Суровые черные Галины глаза исподлобья

оглядели ее от лица до рук, двигавшихся над тарелкой.

— Чем же вы больны? — спросила мачеха, с чмоканьем обсасывая селедочный хвост.

Не умея рассказать им о своей нервной усталости, актриса солгала:

— Легкие не в порядке.

— Да, это надо лечиться, — равнодушно согласилась мачеха. — У нас тут от легких помер один в запрошлом году. Пенсионер из Москвы. Рак легких признали.

Она не расспрашивала падчерицу о ее теперешней жизни. Возможно, эта жизнь до того ей далека и чужда, что и узнавать о ней нет интереса. А скорей всего, она сама уже составила об этой жизни полное понятие и осудила ее бесповоротно, и не о чем тут языком трепать.

— Расскажите мне, как умер папа.

— В больнице умер, мы не видали как, — ответила мачеха. — В субботу лег, во вторник ему операция была, а в четверг поехала, говорят — вчера вечером не стало. Запустил, говорят, язву-то. Не запусти, еще бы пожил.

Она отрыгнула.

Галя посмотрела на сестру, на мать и опять на сестру — какая-то мысль прошла, как облако, в

черных блестящих глазах, смуглое лицо порозовело, что-то шевельнулось у губ, тоже крупных и плоских, но прелестных нежной свежестью. Она потупилась — стыдится за мать, за ее равнодушие, подумала актриса и сказала ей:

— Сходим с тобой вместе на кладбище?

Стали собираться на кладбище, но пришла Елизавета Андреевна. У нас тут всегда молниеносно разносились новости. Вот уже и Елизавету Андреевну известили, что я приехала.

— Здравствуйте, Елизавета Андреевна!

— Здравствуй, здравствуй, покажись. Что это ты не очень здоровой выглядишь.

— Легкие не в порядке.

— Ну да, жизнь нездоровая, вот и легкие не в порядке.

И эта осудила?

— Ложитесь вы там бог знает когда, встаете поздно, режима нет.

— Какое поздно, Елизавета Андреевна, у нас репетиции начинаются ровно в одиннадцать, минута в минуту, поздно не встанешь…

— Что ж это, по-твоему, рано — в одиннадцать? Это уже не утро — день. В старину в двенадцать люди обедали.

Прежде тоже у нее был этот тон: мол, никто из

вас не знает, что к чему, я одна знаю, слушайте меня. И старину любила упоминать для назидания и образца, хотя знала ее только по книгам и сама никогда в двенадцать не обедала, а прожила среди всяческой ломки и перемен многотрудную жизнь сельской учительницы. «Как я ее слушалась, — подумала актриса, — каждое слово ее запоминала, как дорожила ее похвалой…» Грустно было смотреть на эту худую шею, длинно торчащую из кружевного воротничка.

— В старину люди с петухами вставали, с петухами ложились, потому и были богатырями.

Актриса приняла вид несмышленыша, кругом зависимого от взрослых.

— Вы правы, Елизавета Андреевна.

— Ну да, права.

— Я иногда думаю: как мы действительно неправильно живем.

Елизавета Андреевна подобрела.

— Ну, ваш брат артист статья особая, что правда, то правда. Такие уж у вас производственные условия. В общем-то ты молодец, что сумела достигнуть своей цели. Имела цель и добилась. Каждый человек обязан иметь цель и добиваться, какие б ни были трудности.

— Елизавета Андреевна, — сказала актриса как

могла почтительней и мягче, — я к вам собиралась. Так хотелось повидаться. Я так рада, что вам тоже захотелось и вы пришли.

Она достала из чемодана подарки. Елизавета Андреевна была тронута, но сказала:

— А все-таки первая твоя цель была более высокая. Быть артисткой — далеко не то, что преподавать литературу. Согласись.

И не выдержала, спросила:

— Ты замужем?

Потом стала говорить о Гале.

— У нее нет жизненной цели, меня это очень беспокоит. И, не имея цели, хочет ехать поступать в институт. И сама не знает в какой.

— А что, здесь сидеть? — спросила Галя. Голос у нее был низкий, глуховатый.

— Смотря зачем здесь сидеть. Посмотри на Соню.

— Чего мне смотреть на Соню.

— На кого же смотреть, если не на Соню? Соня поступила патриотично: окончила школу и осталась в колхозе. Соня поступила как советский человек.

— А кто в институт поступает — не советский?

— Ты мне скажи, в какой институт ты хочешь? Какая у тебя цель? А раз нет цели, работай в

колхозе.

— Что ж, значит, в колхозе тем работать, у кого цели нет?.. Соня эту работу любит, а я не люблю.

— Работу надо любить всякую. Нехорошо так говорить. Получается, что ты колхоз не любишь.

— Что ж мне — говорить, что люблю, когда не люблю?

Они толкли эту воду в ступе упрямо, ни одна не хотела первой выйти из нелепого спора.

— Зато Соня — знатный человек.

— А я не хочу быть знатной.

— А чего ты хочешь?

— Я не знаю.

— Тогда слушай, что я говорю. Вот и мать не хочет, чтоб ты уезжала.

Мачеха вдруг зашевелилась.

— Да я почем знаю, — сказала она. — Хочет — пускай едет, мне что.

Красные огоньки тревожно задрожали возле ее щек.

Елизавета Андреевна поднялась с достоинством.

— Ну хорошо, — сказала она, — в конце концов впереди еще целый учебный год. Мы еще об этом поговорим.

Актриса вышла проводить ее.

— Не знаю, что с ними делать, — говорила Елизавета Андреевна, идя через двор. — Району нужны рабочие руки, и они разбегаются. Ты должна на нее повлиять, как старшая сестра.

— Я помню, — сказала актриса, — как вы горячо меня поддерживали, когда я решила ехать в Москву.

— Ну да. Ты очень была способная. И потом в те годы экономика района…

— А Галя неспособная?

— Менее способная. У нее по математике тройки.

— Как узнать заранее, Елизавета Андреевна, кто на что способен. По математике тройки, а вдруг там что-то такое вызревает… А вообще девчатам в здешних местах приходилось трудно, не знаю, как сейчас.

Елизавета Андреевна озабоченно нахмурилась:

— Да и сейчас. Кто не хочет работать в колхозе, тем у нас плохо. Санатории на зиму сокращают штат. Пансионат то же самое. В магазинах, на почте — какие у нас учреждения? — все укомплектовано, люди держатся за свою работу руками и ногами… Ходят девчонки со средним образованием неприкаянные, злые. А мы их каж-

дый год выпускаем еще, еще…

Их догоняла Галя. Они простились.

— Ты же в школу зайдешь, посмотришь, какие у нас перемены? Мы физкультурный зал оборудовали!

— Непременно зайду, Елизавета Андреевна.

6

Те, кто после войны заселил этот край, устроили кладбище для своих мертвых высоко на склоне, обращенном к западу. Солнце, сойдя с зенита, до вечера светило на пирамидки и кресты, торжественно вознесенные над поселениями живых.

Пирамидок и крестов было не много. Мало кто здесь умер за двадцать лет. Люди переселялись сюда в большинстве здоровые, нестарые, и климат их встретил благодатный.

Давно не было дождя, трава на горе сгорела, могильные холмики были изрезаны трещинами.

Актриса упала на землю, охватила холмик руками, прильнула к нему головой. Ей казалось, что у нее разорвется сердце, и в то же время ощутила облегчение, успокоение, будто эта могила долго ждала, пока она придет, и вот дождалась.

Она лежала, без слов прося у могилы прощения, а солнце, спускаясь к закату, палило ей щеку, а земля под ней была вся горячая.

Поцеловала эту землю, поднялась, стряхнула с себя пыль и былинки. Галя стояла поодаль, покусывая сорванный стебелек. Помолчали, потом

актриса сказала:

— Надо будет покрасить пирамидку.

— От солнца облупилось, — сказала Галя. — Пройдут дожди, я опять покрашу.

— Жаль, что цветы нельзя посадить.

— Весной тюльпаны цветут, — сказала Галя, — по всей горе.

— Да! — сказала актриса. — Красные! Я помню!

Она медленно пошла по тропинке, Галя рядом.

— Он был добрей и чище всех людей на свете, — сказала актриса. — Очень он мучился?

— Да нет, не очень. Только выпьет когда.

— Зачем же ему давали!

— Мама не давала. Он потихоньку пил. У соседей трешку займет и пьет.

— За это нельзя судить сурово, — сказала актриса. — Это болезнь, от нее лечат, и не все вылечиваются.

— Очень плакал, как на операцию ложился.

— Боже мой!

— Ничего, говорит, я в жизни не сделал, ничего и никому.

— Ах, неправда! Он воевал, потерял ногу…

— Ничего, говорит, не дал, кроме ноги. Смеется, а у самого слезы текут.

— Боже мой! — повторила актриса и сама об-

лилась слезами. Остановилась и плакала долго, сморкаясь.

Опять пошли. Покрасневшими глазами она смотрела на темно-синее море, такое большое с высоты, на горы, похожие цветом на львиную шкуру, на разбросанные внизу селения, виноградники, белые здания санаториев в темных садах.

— Как я виновата! Каждый год собиралась приехать повидаться пособиралась…

— А чего вам было приезжать, — сказала Галя, — ну приехали бы, ну напился бы он при вас, какая вам радость? Правильно сделали, что не приезжали.

— Что ты. Ну, пусть напился бы. Нет, я должна, обязана была приехать! И говори мне «ты», пожалуйста, слышишь?

— Хорошо, — сказала Галя, идя рядом, покусывая стебелек.

«Какая она прямолинейная», — подумала актриса.

Какая она — вдруг увидела актриса — красивая.

Галя была гораздо выше и крупнее старшей сестры: сильные плечи, длинные ноги. Тяжеловатыми чертами напоминала свою мать, но

обольстителен, если всмотреться, был румянец сквозь темно-золотую кожу, и овал лица, правильный как яйцо, и стройная круглая шея, и длинные голые темно-золотые руки. Это был тот загар, который дается не курортной путевкой, а постоянной, без отлучек, жизнью под здешним солнцем; та сила, что не достигается гимнастикой, а получена от рождения. Черные ее глаза думали, дышали, поглощали.

«Сестра моя», — подумала актриса.

Вместо куцего вылинявшего платьишка, в котором она была дома, Галя надела менее куцее и менее вылинявшее — наверно, ее лучшее, принарядилась по случаю моего приезда. Сестра, милая, я тебе пришлю кучу тряпок, половину того, что у меня есть, пришлю тебе!

— Ну, теперь рассказывай про себя, Галочка.

— Что про себя?

— Как ты живешь.

Галя повела плечом:

— Не знаю. Живу…

— Ты действительно не надумала, что после школы?

— Лучше вы расскажите, — сказала Галя.

— Опять «вы».

— Ой, да я не могу, — сказала Галя и засмеялась.

Сверкнула белая полоска зубов.

— Что за ерунда.

— Ну хорошо, ты. Расскажи что-нибудь.

— Что же рассказать тебе? Хочешь, расскажу, где я побывала. Я во многих странах побывала. Даже не верится, что была, например, в Индии и на слоне ездила.

— Про это теперь много пишут, — сказала Галя, — во всех журналах. Все описывают, где кто побывал. Вы и в театре играете или только в кино?

— Главным образом в театре. Театр — мое постоянное место, моя служба. В кино я снимаюсь от случая к случаю.

— Интересно, — тихонько сказала Галя, — как это играют? Как это, я не понимаю, изображают то героиню, а то какую-то такую мразь, что ее, наверно, и играть противно… а то королеву — вот я видела в Феодосии «Марию Стюарт»…

— Ты хочешь сказать — как возможны такие переходы из оболочки в оболочку?

— Ну да, из одной оболочки в другую, и все смотрят, волнуются, плачут даже. Это, кажется, называется, я читала: перевоплощение.

— Мне нравится, — сказала актриса, — слово «лицедейство». Очень жаль, что его заменили

всякими перевоплощениями. Ничего в нем нет плохого, «лицедей» куда точнее, чем «актер». Я лицедейка в хорошем, профессиональном смысле. Меня лицедейству учили в институте пять лет. Выучили играть и героинь, и мерзавок, и умных, и дур. И королев в том числе. Но это не перевоплощение, я не знаю, что это. Как бы я себя ни ввинчивала в чужую кожу — никогда не отключаюсь от реальной обстановки, от того, что меня окружает в действительности. Вот, говорят, Михаил Чехов, был такой актер, тот играл сумасшедшего и на самом деле сошел с ума, прямо после спектакля в психиатрическую увезли. Может быть, это гениальность, не знаю. Я ни на секунду не забываю, что я на сцене. Все замечаю — и как играют товарищи, и реакцию публики, и каждую накладку… Видишь тот камень, — прервала она себя и рукой показала на соседнюю вершину, — это мой камень! Я туда отдохнуть уходила. Запрячусь за него и посижу с книжкой, почитаю спокойно. Только, по правде говоря, не часто это бывало… А кто сейчас в «Голубой бухте» в библиотеке, все Ольга Ивановна?

— Новая. Ольга Ивановна к сыну уехала. На пенсию вышла.

— Ты берешь там книги?

— Беру. Ольга Ивановна когда уезжала, велела мне давать. Этим сестрам, она сказала, книги на пользу. Нам с вами, — пояснила Галя и глянула исподлобья. — А накладка — это что?

— Это когда должна выехать фурка и не выезжает, заело, или окно повесили криво, или актер забыл реплику и несет от себя… А реакцию публики я так наблюдаю. Выберу два-три лица поближе и слежу, какое на них производит впечатление. Не обязательно самые умные лица, лучше, наоборот, попроще, они воспринимают непосредственней, а еще лучше какое-нибудь сонное, зевающее — уморился, знаешь, на работе, пришел в театр, сел в кресло и чуть не спит… И вот если перестанут зевать, кашлять, вертеться, начнут смотреть и слушать как следует, — значит, все в порядке, ты понимаешь? Понимаешь?! А если еще смеются где нужно, а тем более если плачут, — ну, тогда!.. Тут что говорить. Тут и аплодисментов не нужно Что эти хлопки по сравнению с их слезами. Тут, кажется, жизнь бы им отдала…

— А сами в то же время представляете.

— А сама в то же время представляю. Люблю, интригую, спасаю, убиваю, умираю! А как все оно слито, не могу объяснить. И вряд ли кто-нибудь

может объяснить.

Она вдруг испугалась — как смотрит на нее Галя.

Что это я, будто заманиваю.

— А у вас самодеятельности нет? Никогда не участвовала?

— Участвовала. — Галя отвела глаза.

— Где?

— В школе у нас.

— И как?

— Елизавета Андреевна запретила.

— Почему?

— Она сказала — поскольку у тебя по математике тройка, ты не можешь участвовать в самодеятельности.

— А получалось у тебя? Ты что делала?

— Стихи читала.

— Хорошо читала?

— Я не знаю. Говорили — хорошо. У нас много девочек хорошо читает.

— Да, — сказала актриса, — а в общем-то, Галочка, моя профессия — не сахар. Есть ведь и другая сторона. Бывает, устанешь как собака — все равно играй. Недавно зуб у меня болел. Мученье рот открыть, мутится в глазах, а я по роли выбегаю с шаловливым смехом. Понимаешь, в пьесе напи-

сано: «выбегает с шаловливым смехом». Шалю, а десна — как орех раскаленный… Кончила сцену, убегаю за кулисы, слышу — хлопают, а я к зеркалу: не раздуло ли щеку… Так ведь это боль физическая, а душевная? Один день мне дали поплакать, когда я приехала и узнала, что папа умер. А на другой вечер играла как миленькая. Такая наша работа.

— А если б вам предложили другую, — спросила Галя, — вы бы перешли?

— И вот, — продолжала актриса, — ты видишь, я до сих пор не замужем, и нет у меня человека, чтоб любил меня по-настоящему, хотя друзей-приятелей хоть отбавляй, — почему это? Я думаю, потому, что профессия забирает без остатка всю меня. А если женщина не замужем, то чего-то очень важного не хватает в ее жизни, многие считают — самого важного…

— Я вас спросила, — сказала Галя, — если б вам другую дали работу, тоже очень интересную, вы бы бросили сцену?

— Опять «вы».

— Ты бы бросила сцену?

— Я об этом не думала, — сказала актриса.

— Ни за что бы не бросила, — сказала Галя.

Внизу под ними шли курортники. Мужчи-

ны в шортах и пестрых рубашках. Женщины, обожженные до шоколадного цвета, слишком громко говорящие и смеющиеся.

Галя смотрела на них сверху. «Они все уедут, как и я, — подумала актриса, — разлетятся, надышавшись и накупавшись, прежде чем начнутся дожди, а она останется…»

«А в чем дело, — она подумала, — кто-то должен, не правда ли, жить в этих краях, и разве тут не рай, особенно весной, когда цветут тюльпаны, тысячи людей сюда рвутся — хоть на двадцать четыре дня, хоть на двенадцать, а некоторые строят себе тут домики и остаются навсегда».

Они зашли к Елизавете Андреевне, посмотрели физкультурный зал и классы. Потом подошли к павильончику автостанции, и актриса заказала на завтрашнее утро такси до симферопольского аэродрома.

7

Ночью в низких комнатах душно невыносимо, а комары жалят не меньше, чем под открытым небом, и потому здешние жители любят летом спать на галерейке, на террасе, а если нет ни того ни другого, то прямо во дворе, устроившись повыше, чтоб не заползла какая-нибудь ядовитая дрянь.

Галя и мачеха вынесли из дома два топчана. Галя постлала постели.

— Вы хорошо приехали, — сказала мачеха, — у нас все лето дачники жили, приедь вы раньше на два дня — ни топчана, ни подушки бы не было, пришлось бы вам на рядне в сарае с нами спать.

Ей стало смешно, что эта москвичка, знаменитость, спала бы в сарае на рядне, и она ушла смеясь.

Забытый запах кислого молока исходил от ситцевой наволочки. И все забытые ощущения этого ночлега охватили актрису, когда она разделась посреди двора и ничем не прегражденный горный ветерок дохнул ей на плечи. Она легла навзничь, покрывшись залатанной простыней.

Низко над лицом переливались звезды. Млечный Путь шел через двор, как полоса белого дыма из трубы.

А кроме неба все черным-черно, как только на юге бывает ночью.

Красный огонек плыл между звездами.

Я тоже там побывала сегодня утром. Там тоже распахнуто, не огорожено, как на этом дворе.

В каком распахнутом я живу мире.

Какой странный день — как сон — пролег между высотой, где я побывала, и этим двором. Между утром и ночью.

Что ты дал мне, день?

Скорбную радость — припасть к отцовской могиле.

Туманную, неясную мне радость — почувствовать сестру в девочке, что спит тут за темнотой.

Я люблю ее?

Не могла полюбить, не успела. Но мне не все равно, что с ней будет. Я буду думать — позволяют ей читать стихи или не позволяют.

Да, еще: мне приятно было, когда мачеха надела сережки и заволновалась.

Ее я никогда не полюблю. Но подумать, что совсем бы другой она, возможно, была, и другая была бы у нее жизнь, подари ей кто-нибудь кра-

сивые сережки лет двадцать назад.

Возможно — если вовремя угадать, не пропустить, кому что нужно…

— Почему вы улыбаетесь? — спросила Галя.

Она видит в темноте?

— Почему вы улыбаетесь?

— «Вы»?

— Почему ты улыбаешься?

— Своим мыслям.

— Ты не над нами смеешься?

— Ты с ума сошла!

— Над мамой. Нет? Она тебя обижала.

— Пустяки, Галочка.

— Обижала. Мне рассказывали.

— Даже, может быть, мне это пошло на пользу. Серьезно. В «Униженных и оскорбленных» я буду играть Наташу… Ты читала «Униженные и оскорбленные»?

— Да.

— Так вот, я буду играть Наташу. Но я могла бы сыграть и Нелли, понимаешь?

— Да.

Молчание, потом тихо:

— Ты папу жалела. Ее тоже надо пожалеть. У него товарищи были… Я уеду — она совершенно одна. Витька ее терпеть не может. Он тоже уйдет.

Как только вырастет немного…

— Уедешь?

— Ну да, уеду.

— Куда?

— Все равно. Куда-нибудь.

— Что там будешь делать-то?

— Что-нибудь. Все равно.

— Надо же обдумать все-таки.

— Здесь не останусь. Ни за что. Пешком уйду.

— Говоришь — она совсем одна.

— Она уже сама хочет. Вы не видели? Вы как привезли подарки, так она и захотела, чтоб я тоже ехала. За счастьем… — Тихий голос улыбнулся.

«Ты моя умница», — подумала актриса.

— Иди сюда, — сказала она. — Иди ко мне.

Белая рубашка мелькнула во мраке, и Галя села на край ее постели.

— Пешком, надо же, — сказала актриса, — когда не придумала, что с собой делать, когда ничегошеньки о себе не знаешь…

Она взяла Галю за руки и с нежностью, еще не испытанной, чувствовала дрожь и холод этих сильных рук.

— Ты ляг, — сказала она и подвинулась. — Ложись, обсудим с тобой.

И лежа рядом, две головы на одной подушке,

они прошептались до глубокой ночи.

— Сейчас я в Молдавию, — говорила актриса, когда передвинулись созвездья и Орион встал над двором в блеске своего золотого пояса, — а потом ты приедешь. Лучше кончать школу в Москве, у меня, раз уж решила здесь не оставаться.

«Да ты что, сумасшедшая, — сказал ей ее рассудок, — какую берешь на себя ответственность и как связываешь свою жизнь».

«Молчи, — сказала она своему рассудку, — не твое дело, ты уж вообразил, что я живу на свете только для лицедейства!»

«А все же подумай, — настаивал он, — ты ведь, в сущности, рассудительная, трезвая, подумай, сколько придется отвлекаться, жертвовать своим временем и вниманием, как это будет тебя раздражать и изматывать, с твоей чувствительностью к малейшему раздражению, и что ты ей дашь, кем ты ей будешь, ты, не знавшая материнства?»

«Буду тем, что я есть, — отвечала она, — буду старшей сестрой. Дам ей то, что накопилось в душе моей. Мало накопилось? Буду копить дальше. С ней вдвоем будем копить. Ну, буду иногда раздражаться, все матери и старшие сестры, наверно, раздражаются, у каждой ведь есть свое

заветное, не только свету в очах, что дети».

— Через месяц будешь у меня, — сказала она Гале. — Я пришлю тебе деньги на дорогу. Живи и думай о том, что через месяц будешь в Москве.

8

К девяти утра — собственно, это был уже полный великолепный день — пришло такси. Актриса ждала его на том месте, где когда-то отец ее подсаживал в райторговский грузовик. Галя стояла рядом.

— Вы заказывали? — спросил шофер, высунувшись из кабины.

Он положил чемодан в багажник.

— До свиданья, — сказала актриса.

Галя посмотрела ей в лицо, вскинула руки и обняла за шею.

— До свиданья! — сказала она, и актрису пронзил ее взгляд, полный обожания и веры.

Они поцеловались. Актриса села с шофером. Поехали. Она высунулась из окошечка и смотрела назад.

Пышное облако висело в небе. «Когда пойдут дожди, — подумала актриса, — Гали уже здесь не будет».

Да, а кто же покрасит пирамидку, нужно написать из Молдавии, чтоб кому-нибудь она поручила покрасить пирамидку.

И смотрела назад, пока было видно, на каменные домики — как кусочки сахара, раскиданные по склону, на ту тропинку, навеки врезанную в память, на высоконькую фигурку в полосатом платьице, с поднятой рукой, стоящую у дороги…